

ЧЕТЫРЕ ЭССЕ

Прогульщики

Пушкин любил одноклассников, любить товарищей по университету возможности не имел. К ученой карьере не стремился. Дразнил читающую публику презрением к образованию. Евгений Онегин у него не получил даже приличного домашнего воспитания: всей мудрости, ему внушенной, только и было, что прогулки по Летнему саду с убогим французом Monsieur L' Abbé. Но к концу этих прогулок, меж тем, Онегин «по-французски совершенно мог изъясняться и писал» и «знал довольно по латыни, чтоб эпитафии разбирать», рассуждал о Ювенале, цитировал Вергилия, «бранил Гомера, Феокрита, зато читал Адама Смита». Даже прослыл педантом, то есть буквоедом, ученым. Невесть где и невесть как всему выучился и «слушал Ленского с улыбкой», хоть тот и был набит геттингенской начинкой под завязку: в его арсенале был и Шиллер, и Гете, и на могиле Дмитрия Ларина он всхлипнул из Шекспира: «Poor Yorick!»

Шекспир был любимейшим образцом для Александра Сергеевича; имел только начальное образование, столь скромное, что до сих пор оспаривается авторство его сочинений, напичканных бесконечными отсылками к Древней Греции и Риму. Горацио в «Гамлете» говорит, рассуждая о Призраке: «В года расцвета Рима, в дни побед/ Пред тем, как властный Юлий пал, могилы/ Стояли без зильцов, а мертвецы/ На улицах невнятицу молили. /В огне комет кровавилась роса, на солнце пятна появлялись; месяц,/ На чьем влияньи зиждет власть Нептун...» Да кто же, кроме недоучки, поспешит, и совершенно не к месту и все смешав в одну кучу, прокричать о своем знании древней истории, об убийстве Юлия Цезаря и тут же – о влиянии луны на приливы и отливы, и прочая, и прочая.

В «Капитанской дочке» Петруша Гринев вырос на руках Савельича и ничему не выучился у пьяненького парикмахера мусье Бопре. Но, как и Онегин, был вполне образованным человеком – с жаром читал французские книги и даже (превзойдя Онегина) пристратился сочинять стихи. Стихи, правда, были из рук вон плохие:

Ты, узнав мои напасти,
Сжался, Маша, надо мной;
Зря меня в сей лютой части,
И что я пленен тобой.

Ну, кстати, и у Шекспира Гамлет сочинял стихи отвратительные:

Не верь дневному свету,
Не верь звезде ночей,
Не верь, что счастье где-то,
Но верь любви моей.

Может быть, оба, и Пушкин и Шекспир, хотели этим сказать, что одной непосещаемости занятий в школе или университете мало, чтобы писать стихи. Надо еще быть гением...

У Иосифа Бродского в стихах, особенно ранних, когда незаконченное среднее образование то дерзко выставлялось напоказ сленгом фабричных предместий, то уходило в подполье скрытых цитат из второстепенных древностей, на защите бездипломной робости стоят шеренги Орфеев, Артемид, Эолов, Нарциссов, Бахусов, Горациев, Архимедов, Одиссеев, Телемаков...

К Пушкину относился, как однокласснику-прогульщику, товарищу по эпатажу и отказу, показухе и разорванной аорте. «Я вас любил. Любовь еще /(возможно, что просто боль) сверлит мои мозги».

А главное, шутивно борясь с Пушкиным в школьном дворе, заступился сразу за обоих: всё читали, всё знаем лучше других: «Я вас любил так сильно, безнадежно,/как дай вам Бог другими – но не даст!/ Он, будучи на многое горазд,/ не сотворит – по Пармениду – дважды/ сей жар в крови...» Знаете, кто такой Парменид? То-то! Древнегреческий философ. Основатель элейской школы. Первым провел принципиальное различие между умопостигаемым, неизменным и вечным бытием и чувственно воспринимаемой изменчивостью и преходящей текучестью всех вещей.

Рассказывают, что Бродский искал встреч с глубокими специалистами по Греции и Риму, слушал их с тем чрезмерным почтением, что только выдает презрение выскочки к барской основательности и широте. Но робел. Но скромничал.

Есть у Пушкина еще один француз-учитель – Дубровский. Тоже самозванец на педагогическом троне. Но не убогий, не пьяненький, не парикмахер – бандит, разбойник с большой дороги, благородный грабитель и любимый киллер. Уж он-то и медведя мог заставить себя уважать: вставил ему в ухо пистолет и выстрелил. Его пример другим наука. Бродский профессорствовал в Америке, был строг, резок, категоричен. Немногие студенты оставались до конца курса, – пишет в воспоминаниях один из его доброжелателей.

Крап и Лермонтов

В «Глобусе» в партере стояли, и разрешалось справлять нужду на пол; некоторые, шатаясь, отходили к ломам и мочились на стены; пьяные, потому что пили все время представления (в Лондоне и сейчас бар во всех театрах расположен в партере, зрители перед началом делают заказ на весь спектакль, и бармен потом разносит напитки, пробираясь между ответственными репликами актеров, – он знает текст наизусть и держит свой ритм трагедии; мужской туалет – прямо в зале, женский в коридорчике поодаль), пили и ели и задирали актеров, и залезали на сцену; и артисты самовольно сокращали шекспировские тексты, чтобы длилось все не больше двух часов, – больше стоячие места не выдерживали; и нужно было Шекспиру много раз возвращаться к одной и той же вещи, чтобы она запомнилась, нагрузилась, как корабль, и пошла ко дну, и на дне – внутри памяти – осталась навсегда.

Так, платок в «Отелло» и по-христиански расшит цветами земляники – символы чистоты, супружеской верности, крови Христовой, трилистник – Святая Троица; и в то же время он полон языческих суеверий – подарен матери Отелло ворожеей-цыганкой как верное приворотное средство, и еще:

Сивилла,
Прожившая на свете двести лет,
Крутила нить в пророческом безумье.
Волшебная таинственная ткань
Окрашена могильной краской мумий.

И платок безумно дорого стоит – он главный подарок на свадьбу невесте, а свадьба тайная – то ли христианская, то ли языческая, а то и мусульманская, – кем же еще и быть мавру? – и Отелло за платок сначала душит жену, а потом, сжалившись, добывает кинжалом; у мусульман не душат приговоренных к смерти, но убивают разом – мечом.

Ты перед сном молилась, Дездемона?

У Лермонтова почти точное совпадение:

Теперь молиться время, Нина:
Ты умереть должна чрез несколько минут.

Но, взяв сюжет «Отелло» для своего «Маскарада» (на маскараде во времена Лермонтова было дозвоительно все, как в театре шекспировских времен; плоть дурачилась, выставлялась, скабрезничала), Лермонтов должен был отказаться от самой перегруженной его детали – от платка. И вместо платка он взял ничтожный браслет, который «двадцати пяти рублей, конечно, не дороже» (сумма, впрочем, не совсем ничтожная, но, разумеется, для Арбенина несущественная и для браслета – более чем скромная). И поначалу кажется, что поступил Лермонтов совершенно опрометчиво: ни один мужчина, и самый ревнивый муж в том числе, не узнает недорогой женин браслет – таких у нее десятки – в руках постороннего. А Арбенин, разочаровывая в Лермонтове, узнает.

И только потом понимаешь, как точно Лермонтов обыгрывает тебя. Да ведь Арбенин игрок, профессиональный картежник, шулер. Все смутно для него в мире, кроме зеленого сукна и рук на нем. Эти руки на столе, отрезанные от человека, взятые крупным и сверхкрупным планом, суетящиеся, дрожащие, потирающие друг друга, раскрывающие и сдвигающие карточный веер, холеные, с отполированными ногтями, с крохотной заусеницей на указательном пальце, с сапфиром на среднем, о, эти руки он фотографирует, снимает на пленку, знает до дактилоскопии, знает, как собственный крап; «годы/ Употребить на упражненье рук», поэтому был им сфотографирован и случайный, невзрачный браслет Нины.

Руки – выделенные Арбениным, вырезанные, укрупненные, замещающие человека, стали в следующем столетии открытием кинематографа: метались отдельно по клавишам рояля, сжимали пистолет, катали хлеб, рвали мясо, душили; отрубленные, оживали в фильмах ужасов и мстили, мстили, мстили.

Розалина

Дело в том, что и первая любовь Ромео Розалина родня врагов – племянница Капулетти. Ромео, однако, совершенно не озабочен этим обстоятельством, он страдает лишь из-за холодности Розалины. Может быть, он еще не осведомлен о безнадежном родстве? Но вот некий слуга на улице просит его прочесть вслух список приглашенных на бал, и Ромео видит среди будущих гостей «прелестную племянницу Розалину», и слуга открывает: этот список составил его хозяин – Капулетти. Ромео не смущен и отправляется на праздник, чтобы полюбоваться на неприступную. Удивительно не то, что, увидев на балу Джульетту, он сразу поглощается другой любовью, – удивительно, что в промежутке между приходом в дом Капулетти и встречей с Джульеттой Ромео ни разу не вспоминает о цели своего прихода! И главное: он поражен, что Джульетта – дочь Капулетти так же сильно, как мало был впечатлен родственными связями в случае с Розалиной.

Шекспир путается в нелепихах не для того, чтобы придавить читателя неотвратимостью Рока, не нуждающегося в логических обоснованиях, нет, его гораздо больше волнует мнимость, за которую приходится расплачиваться жизнью. Ромео выдумал Розалину и воспевал ее в пышных стихах, он говорил: «...мне конец/Я не жалец на свете, я мертвец», и эта его поэтическая одержимость постепенно наполнялась плотью и кровью и повела его к смерти, соединяя со стихом. Все случайное, невнятное, странное превратилось из комка глины в совершенство.

И в финале трагедии все повторяется: мнимая смерть, поэтическая причуда, масочное при творство оборачиваются смертью реальной. Джульетта готова умереть, как умирают на сцене во всеоружии великих строк: «Иду к тебе/ И за твоё здоровье пью, Ромео!» – восклицает она, осушая склянку со снадобьем для симуляции гибели. Ромео, выпивая настоящий яд, дословно повторяет ее слова: «Пью за тебя, любовь!». Джульетта целовывает яд с его губ, а далее, как почти всегда у Шекспира, – театр в театре, смерть в смерти, жизнь в поэзии, поэзия в жизни – закалывает себя кинжалом Ромео.

Мысль о том, что за притворство, симуляцию, воображение, вдохновение следует расплачиваться жизнью, русская поэзия восприняла от Шекспира и сделала своей одержимостью.

Модный Гамлет

Удивительные местечки есть в «Гамлете»! «Мужчины не занимают меня и женщины тоже, как ни оспаривают это ваши улыбки», – говорит Гамлет в переводе Пастернака Розенкранцу и Гильденстерну, своим школьным товарищам, которые, надо думать, хорошо его знают. Розенкранц отвечает: «Принц, ничего подобного не было у нас в мыслях!» Гамлет раздражается: «Что ж вы усмехнулись, когда я сказал, что мужчины не занимают меня?»

Розенкранц ухмыльнулся в тот момент, когда Гамлет сказал, что он разохотился искать удовольствий у мужчин. В оригинале так и есть – *delight* – «наслаждение», «удовольствие». А Розенкранц, оправдываясь, произносит словечко *stuff*, которое читается, как «гадость», «дрянь». «Милорд, у меня и в мыслях не было подобной гадости!» – так дословно отвечает он Гамлету. «Но почему же вы засмеялись, когда я сказал, что мужчины не доставляют мне удовольствия?» – допытывается принц...

Русские переводчики бывали в большом затруднении, доходя до этого места. Николай Полевой, например, заменил мужчин на людей, и получилось, что Гамлета не волнуют люди вообще, а также женщины в частности. Смех Розенкранца в этом переводе означает его неверие в равнодушие Гамлета к человечеству. Лозинский воспользовался лазейкой Полевого... И только Пастернак, которого постоянно упрекают в излишней целомудренности переложения шекспировского текста, может быть, просто не заметив двусмысленности, перевел это место точно.

Дальше слишком легко объясняется и ненависть Гамлета к матери, не умеющей совладать с отвратительным вожделением, и желание сослать Офелию в монастырь, и, главное, исступленная месть Розенкранцу и Гильденстерну. Но дело совсем не в этом, а в том, что при всей неприязни к общим местам времени, мы и ими вооружаемся, читая текст, рассчитанный на все времена.